

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

ОРГАН ОРГКОМИТЕТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР И РСФСР

№ 21 (249) 5 мая 1933 ГОДА.

ЦЕНА 20 к.

ПОД РЕДАКЦИЕЙ:

Э. Багрицкого, С. Динамова, М. Кольцова, В. Лидина, А. Селивановского, И. Сельвинского, М. Субоцкого, М. Серебрянского, Е. Усиевич.

ЧТО НАМ ДАЛА РАБОТА В ГАЗЕТЕ



Редакционные удостоверения, корреспондентские билеты писателей — В. Катаева, И. Ильфа и М. Зощенко

А. Безыменский

Слава ей!

Никогда за всю мою поэтическую деятельность не порывал я связи с газетой. Работа в «Правде» и в ее бригадах на предприятиях страны и в колхозах средней Волги безмерно обогатила мой политический, человеческий и творческий опыт.

Поэт, стыдящийся газеты, — чуял. Поэт, не работающий для газеты, — недоросток. Поэт, со всей ответственностью и напряжением участвующий в газете, — работник страны и творец, овладеваю-

ший путями стиля, доступного миллионам.

Критик, не помогающий работе писателя в газете, — пустышка или враг. Критик, охващающий эту работу, — вредитель.

Надо уважать и любить ее, — критику, помогать ей.

Большевистская газета — коллективный агитатор и организатор, невиданный руководитель и помощник писателя.

Слава ей!

Валентин Катаев

Спасибо за это газете

Как и многие, я литературу принял из газеты.

Первое детское стихотворение напечатано в газете.

В 1920 году в Одессе заведывалась «Омск» сатирическая ЮГРОСТА. Работа ежедневно — агитационная. Тысячи стихотворных подписей и тем для плакатов. Там же — фельетоны в стенной газете, и в «Известиях». Постоянны выступления в так называемых устных газетах: группа в 5-6 человек на линейке выезжала на фабрики, заводы, в воинские части. Читали стихи, рассказы, фельетоны, которые зачастую тут же на месте сочиняли. Работа рука об руку с Багрицким, Олешей, Кирсановым, Гехтом и многими другими, ныне известными писателями.

Затем — Харьков: «Коммунист», «Пролетарий» и та же ЮГРОСТА, те же устные и стенные газеты.

Между прочим, в Одессе в 1920

году был командирован в бандитский уезд для организации сельскохозяйственных кооперативов. Таким образом, являясь одним из первых организаторов сельскохозяйственного движения в Одесской области.

Попал в руки банды Заболотного и чудом спасся. Моего спутника убили.

В 1922 году — Москва. Опять — газеты. В. Бахметьев пригласил работать в «Труде», где я напечатал ряд фельетонов. Параллельно писал для Главполитпросвета агитационно-пропагандистские вещи.

Потом, конечно, «Гудок», выданный беспощадный «Гудок», выданный из своих рядов М. Булгакова, Олешу, Ильфа, Петрова, А. Эрихса и т. д. и т. д.

Газета учила жизни.

Спасибо за это газете!

С газетой не порываю и сейчас. То «Вечорка», то «Известия», то «Коридор». Газета — надежнейшая связь с массой.

Слава ей!

Валентин Катаев

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

Перед новым шагом о творчестве А. ЧЕРНЕНКО

Александр Черненко не является тем «неким» исключительным «модным человеком», который, будто бы неведомо откуда появился («самочинно в одиночку»), сразу занимает свое место за тесных писательских столом, где сидят избранные писатели-художники («несколько десятков на всю страну»), о котором недавно писал Сергеев-Ценский, как о подлинной манере появления настоящего писателя, остающегося в литературе «всерьез и надолго».

Александр Черненко вышел как раз из тех творческих групп рабочих-писателей, которые тот же Сергеев-Ценский счел нужным изобразить как молодых людей, печатающих свои портреты в «Резце», но ничего еще не писавших, увлекающихся работой на заводе и собирающихся когда-нибудь взять творческий отпуск и что-нибудь написать.

И тем не менее А. Черненко вошел в литературу. В 1930 г. он выступил с первым и пока единственным своим произведением — первой книгой задуманной им эпопеи «Расстрелянные годы» — и тем не менее за три года книга его разошлась в пяти изданиях, что позволило ей проникнуть к читателю в количестве 100 000 экземпляров, чем не смогут похвастаться «некие» самочинно появившиеся молодые люди.

После этой книги Черненко пока ничего еще не опубликовал, но в ближайшее время должен появиться его новый роман «Моряна». Таким образом, наша оценка явится сейчас как быоценкой пройденного, того уровня, который характеризовал творчество Черненко, формирование его дарования в условиях РАПП, оценкой накануне появления нового произведения, которое позволит реально ощутить рост молодого рабочего-писателя в условиях, созданных историческим решением ЦК.

«Расстрелянные годы» (первая книга задуманной автором эпопеи) это автобиографическая повесть-действие рабочего в предвоенной царской России. Это особое детство, материалом впечатлений которого явилась капиталистическая, воцаренная в образе действительности рабочих семейств, и нарастание классового антагонизма, выразившегося в подъеме революционной волны — в стачках и забастовках 1910-х годов.

Старая капиталистическая Россия имела чистые и черные дворы — благоустроенный, парадный, отгороженный мирок, принадлежащий привилегированному меньшинству, окружали черные квартали, жалкие лачуги, грязные дворы, населенные неприятными детьми, некрасивыми женщинами и грубыми мужчинами.

Чувство неприятности, раздражают неприятности, брезгливы и опаски испытывали люди привилегированного мира к живущей рядом с ними массе. К этой картины привыкли в старой литературе; в той или иной степени это ощущение всегда проявляло себя, едва дело касалось общения людей чистых улиц и домов с обитателями бесконечных «ханаколов» и «вончиков» — черноволосых кварталов капиталистических городов.

А. Черненко перевернула точку зрения, он посмотрел на действительность того времени глазами всех этих ракинчатых детей, испытывших женшин и потных мужчин, и это изменило картину действительности: подлинная неприятность, т. е. эксплуатация человека человеком, открылась именно отсюда, со стороны внешне неприятных низов.

Черненко развернула внешне скучный, безрадостный, неяркий, дурнопахнущий, мусорный, полуупавший, полуленный мир голодно-существования рабочих семейств. Это мир детства Сашки (от лица которого ведется повествование) — сна волжского грузчика и практик-поденщины, открывавший спасениями подвала, помойки и стоянкой ломовиками площади, и внешне элегантная и приятная комедия, прогуливавшаяся с мопсом на цепочке, вырастает в первый анти-

¹ См. «Новый мир», кн. 1-я за 1933 год.

гоистически неприятный детскому восприятию образ.

Это мир сверстников — голодных детей, мечтающих о «многом хлебе и молока», «с длинными и худыми шеями, похожими на кисть руки».

Мир матери — грустных женщин с «пухлыми, вымытыми долями», которые чаюют плакать, которые часто плачут, которые бьют и ругают

стив момент, когда совсем близкий простой человек (пильщик Федор) пол напором событий должен уйти в подполье.

Но матер бьет грубый и тяжелый сапог. Встретив ее, сын видит пушки седин, выбывшие из-под платка и мелодраматические на узких виляхах. Из переука гротескно выскакивает отряд казаков. Отец уже говорит сыну: «Как ты, сынка, все это узнал?» и сын мысленно отвечает ему: «О чем жалеет отец? Нежели ему жалко, что я становлюсь большим...» Но наступает затишье, выпадает снег, забастовка разбита, оставив на руках мальчика большую мать и придавленного обвалом тела отца, пытавшегося пристанить запоздавшие вспышки рабочего гнева. Так приходит конец этому детству.

Мы не знаем полного замысла задуманной А. Черненко всей эпопеи, но первая его книга «Детство» есть те самые расстрелянные казаки пурпурные годы.

Вот то основное и лучшее, что передал в своей повести А. Черненко.

До сих пор мы говорили о том общем смысле, значении, эквилибре, который заключен в «Расстрелянных годах», что определило это произведение как явление proletарской литературы, о том раскрытии действительности не только с позиций, но и в восприятии рабочего класса, которое выделяет произведения рабочих-авторов в ряду советских писателей и не может быть замещено или перекрыто их мастерством, ни техникой любого «секоего» молодого человека, ищущего «самочинно и в одиночку».

Теперь необходимо сказать об уровне этого раскрытия, о степени овладения материалом для деятельности и умении найти для него наиболее полно и сильно выражющие средства, которых удалось достичь А. Черненко.

В этом разрезе «Расстрелянных годов» наделены значительными недостатками — писатель был многим скован, стеснен и придавлен в ряде мест свое повествование до однородного, монотонного уровня.

Сковывал повествование нарочитое стремление автора обязательно наделить каждый эпизод смысловой тенденцией, стремление наделить каждую деталь социальным значением — как бы лишаю изображаемой действительности способности убеждать образно. Такая тенденция исходит из механических представлений о способах «слушания одинко», и постепенно разгадывающегося как рождение в окружающем всецело принадлежащего этой среде дела, насыщающего тяжелую жизнь, ощущением значительности, надеждами, ожиданием. Это рядом с ночными пыльным бытом казарм — в особых «гунлянках» без вина, в постепенном расширении связей, в постепенном развертывании агитации — возникающая революционная солидарность и забастовка; и детство, складывающееся как радостное, деятельное врастание в это дело, в его интересы, опасности и тревоги. Это детство, достигающее лучшего своего воления в участии нарашивание со взрослыми на тайном собрании забастовочного комитета — в протоках и именах, укрытых камышами.

«Я плачу и через цветистые руки задержавшихся в глазах слезы вижу, как длинный и согнутый в дугу и сине-оранжевый дядя Федор обнимает и целует тоже выросшую в динамичной шести разноцветную детскую голову».

Голова совсем заложена слезами. Вот опять, но уже в тумане, вижу золотисто-фиолетового дядю Федора, он расползается в ширину, как бочка; за него кажутся две головы, и он пожимает одновременно с десяток рук — отцу и другим рабочим; все они тоже какие-то необыкновенные — синие, желтые, фиолетовые».

Так переживается в этом дет-

стве, где все, даже серебристый подарочек с логотипом «самочинно и в одиночку».

Мир отцов, дядей и их друзей — соленосов, «с синими спинами, точно паршию, изданными солью, над которыми постоянно висят хоэзкие окрики; рабочих лесопильщиков, у которых «рубахи на плечах белые соляниной отходами пота» и глядя на которых думается: «Неужели они сильнее лошади и меньше устают?»; рабочих удешевленных, чадных и темных цехов и мастерских, где «свет, словно в могиле, оттого и покойники» (т. е. браки), над которым светит кулак мастерства...

Мир детства, где все, даже серебристый подарочек с логотипом «самочинно и в одиночку».

И, наконец, детство, завязанное интригой непонятного, вначале «Кудыкина горы» друга Петки, и его таинственный пиджак, набитый хрюстящими булавами; часто неизвестно куда пропадающий отец; люди, собирающиеся в подполье и «слушающие одинко», и постепенно разгадывающееся как рождение в окружающем всецело принадлежащего этой среде дела, насыщающего тяжелую жизнь, ощущением значительности, надеждами, ожиданием. Это рядом с ночными пыльным бытом казарм — в особых «гунлянках» без вина, в постепенном расширении связей, в постепенном развертывании агитации — возникающая революционная солидарность и забастовка; и детство, складывающееся как радостное, деятельное врастание в это дело, в его интересы, опасности и тревоги. Это детство, достигающее лучшего своего воления в участии нарашивание со взрослыми на тайном собрании забастовочного комитета — в протоках и именах, укрытых камышами.

«Я плачу и через цветистые руки задержавшихся в глазах слезы вижу, как длинный и согнутый в дугу и сине-оранжевый дядя Федор обнимает и целует тоже выросшую в динамичной шести разноцветную детскую голову».

Голова совсем заложена слезами. Вот опять, но уже в тумане, вижу золотисто-фиолетового дядю Федора, он расползается в ширину, как бочка; за него кажутся две головы, и он пожимает одновременно с десяток рук — отцу и другим рабочим; все они тоже какие-то необыкновенные — синие, желтые, фиолетовые».

Так переживается в этом дет-

стве, где все, даже серебристый подарочек с логотипом «самочинно и в одиночку».

И, наконец, детство, завязанное интригой непонятного, вначале «Кудыкина горы» друга Петки, и его таинственный пиджак, набитый хрюстящими булавами; часто неизвестно куда пропадающий отец; люди, собирающиеся в подполье и «слушающие одинко», и постепенно разгадывающееся как рождение в окружающем всецело принадлежащего этой среде дела, насыщающего тяжелую жизнь, ощущением значительности, надеждами, ожиданием. Это рядом с ночными пыльным бытом казарм — в особых «гунлянках» без вина, в постепенном расширении связей, в постепенном развертывании агитации — возникающая революционная солидарность и забастовка; и детство, складывающееся как радостное, деятельное врастание в это дело, в его интересы, опасности и тревоги. Это детство, достигающее лучшего своего воления в участии нарашивание со взрослыми на тайном собрании забастовочного комитета — в протоках и именах, укрытых камышами.

«Я плачу и через цветистые руки задержавшихся в глазах слезы вижу, как длинный и согнутый в дугу и сине-оранжевый дядя Федор обнимает и целует тоже выросшую в динамичной шести разноцветную детскую голову».

Голова совсем заложена слезами. Вот опять, но уже в тумане, вижу золотисто-фиолетового дядю Федора, он расползается в ширину, как бочка; за него кажутся две головы, и он пожимает одновременно с десяток рук — отцу и другим рабочим; все они тоже какие-то необыкновенные — синие, желтые, фиолетовые».

Так переживается в этом дет-

стве, где все, даже серебристый подарочек с логотипом «самочинно и в одиночку».

И, наконец, детство, завязанное интригой непонятного, вначале «Кудыкина горы» друга Петки, и его таинственный пиджак, набитый хрюстящими булавами; часто неизвестно куда пропадающий отец; люди, собирающиеся в подполье и «слушающие одинко», и постепенно разгадывающееся как рождение в окружающем всецело принадлежащего этой среде дела, насыщающего тяжелую жизнь, ощущением значительности, надеждами, ожиданием. Это рядом с ночными пыльным бытом казарм — в особых «гунлянках» без вина, в постепенном расширении связей, в постепенном развертывании агитации — возникающая революционная солидарность и забастовка; и детство, складывающееся как радостное, деятельное врастание в это дело, в его интересы, опасности и тревоги. Это детство, достигающее лучшего своего воления в участии нарашивание со взрослыми на тайном собрании забастовочного комитета — в протоках и именах, укрытых камышами.

«Я плачу и через цветистые руки задержавшихся в глазах слезы вижу, как длинный и согнутый в дугу и сине-оранжевый дядя Федор обнимает и целует тоже выросшую в динамичной шести разноцветную детскую голову».

Голова совсем заложена слезами. Вот опять, но уже в тумане, вижу золотисто-фиолетового дядю Федора, он расползается в ширину, как бочка; за него кажутся две головы, и он пожимает одновременно с десяток рук — отцу и другим рабочим; все они тоже какие-то необыкновенные — синие, желтые, фиолетовые».

Так переживается в этом дет-

стве, где все, даже серебристый подарочек с логотипом «самочинно и в одиночку».

И, наконец, детство, завязанное интригой непонятного, вначале «Кудыкина горы» друга Петки, и его таинственный пиджак, набитый хрюстящими булавами; часто неизвестно куда пропадающий отец; люди, собирающиеся в подполье и «слушающие одинко», и постепенно разгадывающееся как рождение в окружающем всецело принадлежащего этой среде дела, насыщающего тяжелую жизнь, ощущением значительности, надеждами, ожиданием. Это рядом с ночными пыльным бытом казарм — в особых «гунлянках» без вина, в постепенном расширении связей, в постепенном развертывании агитации — возникающая революционная солидарность и забастовка; и детство, складывающееся как радостное, деятельное врастание в это дело, в его интересы, опасности и тревоги. Это детство, достигающее лучшего своего воления в участии нарашивание со взрослыми на тайном собрании забастовочного комитета — в протоках и именах, укрытых камышами.

«Я плачу и через цветистые руки задержавшихся в глазах слезы вижу, как длинный и согнутый в дугу и сине-оранжевый дядя Федор обнимает и целует тоже выросшую в динамичной шести разноцветную детскую голову».

Голова совсем заложена слезами. Вот опять, но уже в тумане, вижу золотисто-фиолетового дядю Федора, он расползается в ширину, как бочка; за него кажутся две головы, и он пожимает одновременно с десяток рук — отцу и другим рабочим; все они тоже какие-то необыкновенные — синие, желтые, фиолетовые».

Так переживается в этом дет-

стве, где все, даже серебристый подарочек с логотипом «самочинно и в одиночку».

И, наконец, детство, завязанное интригой непонятного, вначале «Кудыкина горы» друга Петки, и его таинственный пиджак, набитый хрюстящими булавами; часто неизвестно куда пропадающий отец; люди, собирающиеся в подполье и «слушающие одинко», и постепенно разгадывающееся как рождение в окружающем всецело принадлежащего этой среде дела, насыщающего тяжелую жизнь, ощущением значительности, надеждами, ожиданием. Это рядом с ночными пыльным бытом казарм — в особых «гунлянках» без вина, в постепенном расширении связей, в постепенном развертывании агитации — возникающая революционная солидарность и забастовка; и детство, складывающееся как радостное, деятельное врастание в это дело, в его интересы, опасности и тревоги. Это детство, достигающее лучшего своего воления в участии нарашивание со взрослыми на тайном собрании забастовочного комитета — в протоках и именах, укрытых камышами.

«Я плачу и через цветистые руки задержавшихся в глазах слезы вижу, как длинный и согнутый в дугу и сине-оранжевый дядя Федор обнимает и целует тоже выросшую в динамичной шести разноцветную детскую голову».

Голова совсем заложена слезами. Вот опять, но уже в тумане, вижу золотисто-фиолетового дядю Федора, он расползается в ширину, как бочка; за него кажутся две головы, и он пожимает одновременно с десяток рук — отцу и другим рабочим; все они тоже какие-то необыкновенные — синие, желтые, фиолетовые».

Так переживается в этом дет-

стве, где все, даже серебристый подарочек с логотипом «самочинно и в одиночку».

И, наконец, детство, завязанное интригой непонятного, вначале «Кудыкина горы» друга Петки, и его таинственный пиджак, набитый хрюстящими булавами; часто неизвестно куда пропадающий отец; люди, собирающиеся в подполье и «слушающие одинко», и постепенно разгадывающееся как рождение в окружающем всецело принадлежащего этой среде дела, насыщающего тяжелую жизнь, ощущением значительности, надеждами, ожиданием. Это рядом с ночными пыльным бытом казарм — в особых «гунлянках» без вина, в постепенном расширении связей, в постепенном развертывании агитации — возникающая революционная солидарность и забастовка; и детство, складывающееся как радостное, деятельное врастание в это дело, в его интересы, опасности и тревоги. Это детство, достигающее лучшего своего воления в участии нарашивание со взрослыми на тайном собрании забастовочного комитета — в протоках и именах, укрытых камышами.

<p

Писатель за рулем

БАТАЛЕР НОВИКОВ



Правдивость не пострадает, если мы начнем так:

Бесцумная корабельная дверь, толщиной в дюймы, пожаршина, плотно, почти герметически, захлопнулась за нами. Мы входим в каюту баталера Новикова, николько не удивлены тому, что обитатель старорежимного кубрика, этой «черной половины» царского броненосца, обосновался с удобствами, которых мог бы позавидовать самый требовательный — чистоплюй и красавец, тунца и прирожденный маклак, любимец адмирала Рожественского и гордость всей тихоокеанской эскадры — капитан второго ранга Николай Васильевич Баранов¹. Баталер Новиков, коренастый и плотный, сидит за письменным столом, окутанным дымом. Баталера Новикова окружают вещи. Вещи говорят о прошлом, вещи сидят на стульях, и баталер Новиков пишет как бы под их диктовку.

На стене перед ним, рядом с флагом барометра, предсказывающего дождь, плещет в подрамнике Японское море. Старший сигнальщик Броненосца «Орел» Зефир — не только старший сигнальщик. Он еще художник. И броненосец носится по волнам, разрушаемой бездарной громадой, а море кипит и вздыхает смерчевые волны, под проливным железненным дождем. В углу, на книжном шкафу — японский броненосец «Микаэз». Его вырезал из дерева японский матрос. Любовно. Нохом. До деталей. Чуть ли не до орудийных замков. И «Микаэз» диктует баталеру цепные главы. На столе — книги. Из книг вспыхивает под руку сохранившимся глянцем и утерянные молью красок рисунки и фотографии. Флаги японских адмиральских бороды, холены капитанские подбородки, тоинки талии блестательных гардемаринов, аккуратнейшие усыки не менее блестательных, полоющих надежды мичманов, бритые затычки матросов и глаза, глядящие исподлобья. Еще адмиралы. Опять гардемарин и мичманы. Потом — корабли, великолепие эскадры. Суровость «Орла», надраенная улыбка «Цесаревича», показная хвастливость «Суворова» и «Светланы», лихая пропажа «Буйного» и «Владимира Мономаха», воинственность «Дмитрия Донского». Потом... пробоины, бреши, сбитые орудия, сорванные броневые башни, развороченные палубы, искромсаные рубки, троны, хаос разрушения — все, чем поплатилось внешнее великолепие царского флота. Достойные иллюстрации с строками:

«Три или четыре удара одновременно получили и без того истерзанный броненосец, на момент выброса пламя, словно взмынул золотым крыльем, и, укапавшись в облако черного дыма, быстро затонул. Спасенных не было. А в пяти кабельтовых от «Суворова» через несколько минут положила свою голову «Камчатка»... Большой снаряд разорвался в ее носовой части, и она стремительно последовала за броненосцем. «Камчатка», на которой плавало больше восьмидесяти рабочих-мастеров, членов матросов, также мало осталось свидетелей...»

Мы не ошиблись, когда назвали кабинет писателя Новикова-Прибоя каютой баталера Новикова. Алексей Сильч пришел в шестидесят лет не только воспоминания о «Цусиме». Он принес в шестой свой десяток некоторые привычки матросской молодости. На броненосце «Орел» баталер Новиков принял себя работать за первыми своими рукописями в разгар корабельного дня, под звон склянок, голоса команды, гомон и топот 900 человек. Тендер Новикова-Прибоя смог бы работать на многоголошней собрании, на котором говорили бы все сразу. Но он закупоривает свой кабинет сплошь устроенной дверью (по виду — корабельной), когда в соседней комнате читают вслух описания из «Цусимы».

Знания свои нужно дополнять житейской практикой, иначе будет литературщик. Я вот смотрю на некоторых — талантливых — писателей. Сидят сидят, за портфели, — и ногой. И в результате от нелипкой, иногда талантливой, книги отдается запахом книжной полки, на которой расположена энциклопедия. Говорю это потому, что я, знающий жизнь, боюсь, как бы все прочитанное мною не наложило свой отпечаток на жизнь, виденную мною.

И вспоминается один из многочисленных отзывов о «Цусиме», отзывах, написанных отнюдь не первом критиком: «Достоинства произведения: абсолютное знание автором материала, исключительно правильных об-

щественно, и писатель, который имеет не только глаза и уши, но еще и волю, решает, что опыт надо решительно изменить.

Писатель Шагинян отправляется на строительство Дзора-ЭС, живет там, включается в работу по строительству станции — и через несколько лет появляется роман «Гидроцентраль», о котором несомненно не жалеет ни читатель, ни писатель.

Нет, т. Шагинян. Дело не только в углублении темы, это понятно само собой, дело именно в перемене тематики, в изучении новой тематики для многих из тех работников советского искусства, которые до сих пор плутают по дамским окраинам дорожками, иногда заходящими совсем в противоположную сторону.

И пропаганда за углубление в кухню, трамвай, контур издательства именно потому опасна, что она

рисовка быта и жизни матросов. Автор дает их не тенденциозно, не изолированно, а во взаимодействии со всей эскадрой. Идеология матросов вскрыта с большой глубиной. Участники «Цусимы» рассматривают историю эскадры не в свете своей личной судьбы, а в общей концепции событий, имеющих свои исторические пути...

Главное вот это, — продолжает Новиков-Прибой, — видите, что здесь собрано? — И он, поворачиваясь к шкафу, проводит пальцем по клавиатуре корешков. — Три пальца, дневники, справочники, документы. Многое было потерянно, теперь нашлось. Это, пожалуй, единственная Союз цусимская коллекция, так сказать подборная. Когда-нибудь, как закону работу, отдал государству. Материал прибывает. Если раньше я искал его, то теперь он ищет меня. Вот на днях, — женщина привнесла сверток?.. еще не разбирала...

И он любовно кладет ладонь на увесистую книгу, завернутую в газету и перевязанную шнуром.

— Я жаждый. Все мне мало. Вот во вторую часть «Цусимы» входит «Бегство». Целиком. Лиши с некоторым пересечением материалов. Над этим фрагментом работал много и долго. Проверил все. Пропустил через себя гильзу материала, прежде чем написать их. А теперь все-таки работа опять проверяется, слично, дополнено. Да и как мне удержаться, если...

Он роется в томах и томиках, высыпанных на стол. Вот журнал «Япония и Россия 1905 года», выходивший в Японии на русском языке. Вот целие бильги в германских муниципах казенного обида с надписью «Не подлежит оглашению», изданные в свое время гильзами морским штабом под германским называнием «Действия флота». В эти толстые папки чиновники, сидевшие на набережной Невы под адмиралтейской иглой, прятали от «общественного мнения» правду о событиях в Японском море, о гибели, о бегстве, о позоре. Вот книги рапортов, донесений, показаний командиров и матросов. Вот японская работа в русском переводе — «Описание военных действий на море в 37—38 году Мэйдзи». Вот...

— Ага, нашел... как мне удержаться, если даже эта пустышка вспыхнет, не выхола — до двух-трех часов дня. И за все это время рукопись его успевает обогатиться иными одной свежей страницей.

— Да. Лишь одной страницей в день.

— Почему так? Трудно пишется?

— Не легко. Работа дается с трудом. Многие говорят, что я пишу плохо. Сед и написал книгу. Неправда. Страшно тяжело. Много переделываю. Много дорабатываю. И все для простоты. Только для простоты. Буду считать себя удовлетворенным, когда увижу, что книга мои читатели однокаково легко и профессором и пионером. А главное...

Алексей Сильч многозначительно хлопает ладонью по обемистой папке, из которой выглядывают пожелтевшие, тленные, тронутые листки, и берет папирус (которую за этот вечер). Затем он поднимается из-за стола и тут же, не скользя с места (если под рукой), находится, чтобы открыть полки английских ящиков с книгами.

— А главное, — говорит он, и на стол выкладывается, заваливая пепельницу, чернила, карандаши — драхмовые альбомы, портфели, фолиант с кожаными корешками в золотом тиснении. Одну из рукописных книг (дневник участника «Цусимы») он гостепримно подносит к моему носу — понюхать мышиный запах десертитов.

— А главное это... главное, что отнимает у меня умье времени и силы — это подбор, изучение, систематизирование материалов. У меня все подчинено до грамма.

Все взвешено и проверено. От исторической правды ни на шаг.

Прежде чем написать страницу, приходится прочитывать сотни страниц.

— Капитаны стоят вот так. Сдвиги ноги — новая страница на бок.

Потом он говорит о руках, папках, ростратах и спальере, постоянно забывая, что перед ним самый что ни есть скруточный человек.

— А скажите, Алексей Сильч, ведь не поверим мы вам, если вы скажете, что вы целиком — в прошлом и, увлекшись одним только днем (14 мая 1905 года), не замечаете жизни, что сейчас — за «кинокиноматографом» вашей «Киностудии».

— Не будь сегодняшней жизни, я, может, не написал бы «Цусимы».

«Цусима» хорошо видна с вышки наших дней. А потом — кто сказал?

— Капитаны стоят вот так. Сдвиги ноги — новая страница на бок.

Потом он говорит о руках, папках, ростратах и спальере, постоянно забывая, что перед ним самый что ни есть скруточный человек.

— А скажите, Алексей Сильч, ведь не поверим мы вам, если вы скажете, что вы целиком — в прошлом и, увлекшись одним только днем (14 мая 1905 года), не замечаете жизни, что сейчас — за «кинокиноматографом» вашей «Киностудии».

— Не будь сегодняшней жизни, я, может, не написал бы «Цусимы».

«Цусима» хорошо видна с вышки наших дней. А потом — кто сказал?

— Капитаны стоят вот так. Сдвиги ноги — новая страница на бок.

Потом он говорит о руках, папках, ростратах и спальере, постоянно забывая, что перед ним самый что ни есть скруточный человек.

— А скажите, Алексей Сильч, ведь не поверим мы вам, если вы скажете, что вы целиком — в прошлом и, увлекшись одним только днем (14 мая 1905 года), не замечаете жизни, что сейчас — за «кинокиноматографом» вашей «Киностудии».

— Не будь сегодняшней жизни, я, может, не написал бы «Цусимы».

«Цусима» хорошо видна с вышки наших дней. А потом — кто сказал?

— Капитаны стоят вот так. Сдвиги ноги — новая страница на бок.

Потом он говорит о руках, папках, ростратах и спальере, постоянно забывая, что перед ним самый что ни есть скруточный человек.

— А скажите, Алексей Сильч, ведь не поверим мы вам, если вы скажете, что вы целиком — в прошлом и, увлекшись одним только днем (14 мая 1905 года), не замечаете жизни, что сейчас — за «кинокиноматографом» вашей «Киностудии».

— Не будь сегодняшней жизни, я, может, не написал бы «Цусимы».

«Цусима» хорошо видна с вышки наших дней. А потом — кто сказал?

— Капитаны стоят вот так. Сдвиги ноги — новая страница на бок.

Потом он говорит о руках, папках, ростратах и спальере, постоянно забывая, что перед ним самый что ни есть скруточный человек.

— А скажите, Алексей Сильч, ведь не поверим мы вам, если вы скажете, что вы целиком — в прошлом и, увлекшись одним только днем (14 мая 1905 года), не замечаете жизни, что сейчас — за «кинокиноматографом» вашей «Киностудии».

— Не будь сегодняшней жизни, я, может, не написал бы «Цусимы».

«Цусима» хорошо видна с вышки наших дней. А потом — кто сказал?

— Капитаны стоят вот так. Сдвиги ноги — новая страница на бок.

Потом он говорит о руках, папках, ростратах и спальере, постоянно забывая, что перед ним самый что ни есть скруточный человек.

— А скажите, Алексей Сильч, ведь не поверим мы вам, если вы скажете, что вы целиком — в прошлом и, увлекшись одним только днем (14 мая 1905 года), не замечаете жизни, что сейчас — за «кинокиноматографом» вашей «Киностудии».

— Не будь сегодняшней жизни, я, может, не написал бы «Цусимы».

«Цусима» хорошо видна с вышки наших дней. А потом — кто сказал?

— Капитаны стоят вот так. Сдвиги ноги — новая страница на бок.

Потом он говорит о руках, папках, ростратах и спальере, постоянно забывая, что перед ним самый что ни есть скруточный человек.

— А скажите, Алексей Сильч, ведь не поверим мы вам, если вы скажете, что вы целиком — в прошлом и, увлекшись одним только днем (14 мая 1905 года), не замечаете жизни, что сейчас — за «кинокиноматографом» вашей «Киностудии».

— Не будь сегодняшней жизни, я, может, не написал бы «Цусимы».

«Цусима» хорошо видна с вышки наших дней. А потом — кто сказал?

— Капитаны стоят вот так. Сдвиги ноги — новая страница на бок.

Потом он говорит о руках, папках, ростратах и спальере, постоянно забывая, что перед ним самый что ни есть скруточный человек.

— А скажите, Алексей Сильч, ведь не поверим мы вам, если вы скажете, что вы целиком — в прошлом и, увлекшись одним только днем (14 мая 1905 года), не замечаете жизни, что сейчас — за «кинокиноматографом» вашей «Киностудии».

— Не будь сегодняшней жизни, я, может, не написал бы «Цусимы».

«Цусима» хорошо видна с вышки наших дней. А потом — кто сказал?

— Капитаны стоят вот так. Сдвиги ноги — новая страница на бок.

Потом он говорит о руках, папках, ростратах и спальере, постоянно забывая, что перед ним самый что ни есть скруточный человек.

— А скажите, Алексей Сильч, ведь не поверим мы вам, если вы скажете, что вы целиком — в прошлом и, увлекшись одним только днем (14 мая 1905 года), не замечаете жизни, что сейчас — за «кинокиноматографом» вашей «Киностудии».

— Не будь сегодняшней жизни, я, может, не написал бы «Цусимы».

«Цусима» хорошо видна с вышки наших дней. А потом — кто сказал?

— Капитаны стоят вот так. Сдвиги ноги — новая страница на бок.

Потом он говорит о руках, папках, ростратах и спальере, постоянно забывая, что перед ним самый что ни есть скруточный человек.

— А скажите, Алексей Сильч, ведь не поверим мы вам, если вы скажете, что вы целиком — в прошлом и, увлекшись одним только днем (14 мая 1905 года), не замечаете жизни, что сейчас — за «кинокиноматографом» вашей «Киностудии».

— Не будь сегодняшней жизни, я, может, не написал бы «Цусимы».

«Цусима» хорошо видна с вышки наших дней. А потом — кто сказал?

— Капитаны стоят вот так. Сдвиги ноги — новая страница на бок.

Потом он говорит о руках, папках, ростратах и спальере, постоянно забывая, что перед ним самый что ни есть скруточный человек.

— А скажите, Алексей Сильч, ведь не поверим мы вам, если вы скажете, что вы целиком — в прош